

1

В тысяча девятьсот тридцатом году Верочка Бутова окончила школу. Ей было восемнадцать лет, и она была счастлива.

Ранним утром, только что искупавшись, раскинув по плечам мокрые, соленые волосы, она шла по берегу моря. Розовенькое ситцевое, впервые надетое платьице дулось на свежем ветру; спереди оно прижималось к коленям и бедрам, сзади — струилось и хлопало, провожая хозяйку множеством легких аплодисментов. Над головой Верочка размахивала стареньким красным купальником; восхитительно яркий, пока не просох, он взвивался, опадал и вспыхивал флагом. Невысокие волны одна за другой взбегали на берег, круглились, рушились и отступали, оставляя за собой мелкий шепот исчезающей пены. В песке свежо сверкали разноцветные, волной умытые камни. Море тоже было разноцветно: вблизи отливало желтым, дальше — зеленым, бутылочным, а еще дальше уже не отливало, а стояло сплошным монолитом пламенной синевы. Вдалеке, на невидимой нити между небом и морем, белой жемчужинкой завис небольшой пароход, идущий и неподвижный, —

светлая точка настоящего между прошлым и будущим. Белые чайки с черноокаймленными, будто в тушь обмакнутыми крыльями носились над морем, время от времени молниеносно снижаясь и припадая к воде. В их клювах угадывалась цепко схваченная серебряная добыча. Вольная жадность чаек, их ширококрылая свобода была заразительна; Верочка шла широкими шагами по скрипящему, шевелящемуся живому песку, размахивала флагом, и ей хотелось всего. От полноты души она пела немаленьким своим, но не совсем верным голосом старый романс, запетый целыми поколениями русских девушек, начавший жизнь в гостиных и закончивший в кухнях и прачечных, — романс о белой чайке и загубленной женской судьбе:

Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.
Над озером быстрая чайка летит...

Впереди, за мысом, четко врезанным в голубизну, уходила вдаль узкая полоска пляжа, бедная песком, утесненная корявыми скалами. Берег в этот ранний час был пустынен, и только далеко вдали шла, перебирая ногами, то ли сюда, то ли отсюда, одинокая фигура человека в темном.

2

Верочкино детство было бедное, трудовое, но светлое, солнечное, все в маках.

...В хатке прохладно, ветерок гуляет от окна к окну, колышет тюлевые гардинки; они на-

крахмалены, коробятся жесткими складками, шуршат, задевая о фуксии, и время от времени какая-нибудь из фуксий роняет розовый каплевидный нежно висячий цветок. Сложно пахнет яблоками, тмином, полынью, недавно сбрызнутым глиняным полом; он просыхает неровно, пятнами; чуть притоптан с одного боку чистый пестрый лоскутно-вязанный половичок. Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.

Верочка выходит из хаты, и светлая жара кладет ей на голову горячую руку. Стрекогут кузнечики, воздух полон их знойным звоном. Земля под ногами пыльна, горяча; цепочкой печатаются на ней детские босенькие следы. Вокруг огорода — плетень: разновысокие колья плотно перевиты прутьями; кора кое-где отстала и висит на лычках, обнажая голое гладкое дерево. Красная букашка с черным узором ползет по колу вверх, устремляясь туда за каким-то никому не ведомым букашечьим делом. На самых рослых кольях сушатся кверху дном смуглые глечики в неровной поливе, солнцем сияет пузатая бутылка слои-

стого водяного стекла. Зеленеют пахучие укропные зонтики; высокий подсолнух выше плетня поднимает тяжелую свою желтую голову. Внизу, у его твердой граненой ноги, жмутся к земле замысловато изрезанные пыльно-зеленые арбузные листья. А вот и сам арбуз, он величествен, полон тяжелой круглотой, одна сторона — темно-зеленая — жарко нагрета солнцем, другая, нижняя, бледна и прохладна; Верочка всегда норовит потрогать арбуз, чтобы еще раз убедиться, какие у него разные щеки. У плетня крутится штопором, цепляясь за прутья усами, хитрый व्यюнок по имени «крученный паныч»; его крупные нежные сине-лиловые колокольчики, яркие внутри, бледные снаружи, направляют широко разинутые раструбы во все стороны, приглашая пчел. Цветок паныча живет один день — утром разворачивается, а к вечеру уже никнет лиловой тряпочкой. Сорвешь его — сразу завянет, ставь его в воду или не ставь. Верочка тянет к себе, не срывая со стебля, самый большой колокольчик и окунает в него нос по самые щеки. Цветок слабо и сладенько пахнет; когда его нюхаешь, он словно бы всхлипывает и тонко-тонко приникает к ноздрям.

А больше всего в огороде маков. Стройные, сомкнутые, они похожи на веселое войско. Ветер качает маки, они клонятся, и видно, как они разноцветны — розовые, абрикосовые, белые, махровые и полумахровые, и простые красные с черно-лиловым сердцем. Верочка в высоких маках ходит как в лесу, и цветы качаются выше

ее светленькой головы. Бабочка-капустница порхает над маками и невзначай садится на Верочкину голову, как на цветок.

3

Семья Бутовых жила на окраине большого богатого приморского города. Город-то был богат, а они — бедны. Верочка с детства привыкла знать, что они, Бутовы, бедны: в доме мало было денег, мало вещей, маловато еды, но это ее не огорчало. Вообще она была девочка веселая, с вечным лучом радости на кругленьком лукавом лице.

Нравом и веселостью она уродилась в отца. Отец, Платон Бутов, был человек веселости неистребимой, хотя и крепко ударила его жизнь. С германской войны вернулся без ноги, да еще и отравленный газами — с тех пор у него внутри что-то свистело. Верочка любила слушать, как в папе свистит, он ей это охотно позволял, прижимая ее маленькое, мягкое, пакетиком складывающееся ухо к своей широкой груди: «Слышь ты, какая музыка». Верочка думала, что отец грудью насвистывает нарочно, для смеху. Посмеяться-то он любил. Был он большой, выше притолоки, ясноглазый, с прямым соломенным чубом. Когда играл на балалайке, чуб прыгал. Иногда Платон пытался даже петь, но быстро замолкал, схваченный одышкой, и глаза допевали остальное. Одевался он чисто, даже щеголевато, единственный сапог начищал до зеркального блеска,

бороду брил каждый день, а рыжие усы закручивал кольчиками, как у Кузьмы Крючкова — знаменитого казака-героя. Свою деревянную ногу сам раскрасил, расписал цветами и птицами и так весело стучал по горнице, что никто про него не сказал бы «калека». Верочка вся уродилась в отца — и глазами, и соломенным блеском волос, и веселым неуныванием. Женя, младшая, та больше походила на мать — смуглая, длиннорукая, сердитая. Мать, Анна Савишна, была сердитая не отроду, а от тяжелой жизни. Пенсия мужу-инвалиду шла грошовая, деньги падали, цены росли. Мать промышляла шитьем, часами стуча на ножной машинке, зингеровской, еще приданой своей. Верочка, сколько себя, так помнила эту машинку — золотопестрые узоры и крупную букву «З» на толстой черной ноге, быстрое снование светлой иглы, жесткий запах новеньких ситцев — розовых, голубых, крапчатых, из которых мать шила платья и кофточки окраинным щеголихам. Верочке доставались обрезки — длинные или треугольные лоскутки, в которые она заворачивала своих кукол (а куклами были у нее маковые головки). Еще мать зарабатывала поденщиной, ходила в город к богатым барыням стирать кружевное белье.

Верочка у отца научилась смеяться, а у матери — работать. С самых малых лет, с пяти-шести, она матери помогала — и по дому, и в огороде. Цапка большая, вдвое выше Верочки, но она кое-как приспособливалась: перехватит рукоятку пониже, бьет по сорняку коротеньким, детским за-

махом. Мать по воду — и она с ней; мать — с ведрами, Верочка — с кувшином. Кувшин, когда без воды, — легкий, а с водой — налитой, тяжелый, и вода в нем прыгает, чуть что — через край. Капли разбегаются по пыльной земле, не смачивая ее, оставаясь шариками.

Женя, младшая сестренка, была слаба здоровьем. Фельдшер нашел у нее английскую болезнь, велел поить рыбьим жиром. Рыбий жир стоил дорого, покупали его в аптеке, где за окном прекрасно сияли налитые разноцветными жидкостями стеклянные шары: зеленый, малиновый, солнечно-желтый. Аптекарь, старенький немец в чистейшем халате, был робок, держал голову низко, припрятав ее между плеч, словно перед ударом. Он гладил Верочку по голове, говорил: «Oh, frommes Kind!», дарил ей флаконы и коробочки из-под лекарств с длинными бумажными хвостами, где было что-то написано.

Женька рыбий жир пила плохо, приходилось ей нос зажимать, чтобы она рот открыла, и тогда залить туда ложку силком. После этого начинался рев. Ревела Женька длинно и нудно, басовым голосом, по целым часам. Сядет и ревет, словно деньги зарабатывает. Верочка этого рева терпеть не могла, а мать за Женьку заступалась: «Она еще маленькая». Вообще она младшую дочку, наверно от жалости, больше любила. Зато Верочка — папина радость, отец на нее не надышится. Тележку ей смастерил, клетку для соловья, только самого соловья еще не было, дорого стоит, но отец обещал купить, когда разбогатеет.

Он твердо верил, что разбогатеет, да не один, а со всем трудовым народом, дай только разберемся. А пока что было трудно. Мать ужом крутилась, чтобы выгадать лишний двугривенный. С огорода многого не возьмешь, что вырастили, то и съели. Ели они борщ три раза в день: утром, в обед и вечером. Борщ когда какой — по доходам. Чуть получше с деньгами — и борщ пожирней, с мозговой косточкой. Похуже — борщ постный, с чесноком и фасолью. Совсем плохо — борщ почти из одной ботвы. Забелить нечем, коровы нет. Мать брала молоко у соседки Дуняши за деньги, по глечике в день. Пила одна Женя — она маленькая, да и здоровьем слаба. Наливали ей кружечку молока, в руку — половину баранки, она и тут ухитрялась реветь — зачем баранку сломали. При грозе молоко кисло, и мать давала Верочке простоквашу — Женька-капризница кислого не ест. Такого — да не есть! Простокваша прямо с погребца, голуба, холодна, чудесно режется ложкой на нежно-плотные, дрожащие куски. Кусок лежит на языке и медленно тает, а ложка уже идет за другим, и опять, и опять, и вот уже видно дно, и радость кончается, но не совсем, потому что можно еще высунуть язык и, упираясь носом в тарелку, вылизать ее дочиста. Верочка любит простоквашу и, значит, любит грозу, радуется, когда пухнут на краю неба синие тучи.

Тучи приходили с моря. Бутовых хата стояла у самого моря на высоком, крутом берегу. Ниже летали чайки, выше — ласточки. Красный глинистый берег увалами спускался к морю и был весь

изрыт, расщемлен оврагами. Весной по ним бежала вода, глыбами ворочая глину. Овраг — поздешнему «враг». «И подлинно, враг, — говорила Анна Савишна, — верно сказано: да воскреснет Бог и расточатся врази его». Начал уже враг подбираться к бутовской хате, подмывал основание, рвал из плетня колья, грыз по краям огород, как ни боролась с ним Анна Савишна, подсыпая землю и камни, подпирая, ухичивая свое жильё.

Близко море, а ходить некогда. Пока сходишь туда-обратно, полдня как не бывало, а работа не ждет. Изредка все же ходила мать искупаться, брала с собою девчонок. Жене, по слабости здоровья, купаться было нельзя, но сидеть в горячем песке фельдшер ей посоветовал, говорил, что хорошо от английской болезни. Потому и ходила мать к морю, сидела на пляже, как барыня. Она раздевала Женю, закапывала ее до пояса в песок. Продолговатые сыпучие холмики повторяли очертания длинных слабеньких ног. Мать садилась рядом и, совестясь, отдыхала, глядя на слепящее море из-под коричневой узкой ладони. Сидела она одетая, в том же старом темненьком платье, в котором работала, шила, стирала. Решив искупаться, она быстро, стыдливо раздевалась и шла к воде, в своей длинной сборчатой рубахе, придерживая ее для приличия горстью у горла. Глубокая, почти лиловая чернота лица, шеи и рук резкой чертой отделялась от остального, незагорелого тела — казалось, матери и впрямь в пору было стыдиться такой белизны. Войдя в воду по пояс, мать крестилась и трижды окуналась по шею, обняв себя

руками за плечи. На этом купанье кончалось, она выходила вон из воды. Кристальные струи стекали с мокрой рубахи, четко обозначалось все стройное, узкое тело, облитое прилипшей, лучами расходящейся тканью. Мокрая, выходящая из воды мать походила на серебряную рыбу, вставшую на хвост; Верочка следила за ней с восторгом, обнимая глазами, оглаживая. Но Анна Савишна стыдилась даже дочерних глаз. Она и в баню-то ходить не любила, все из-за жестокой своей стыдливости. Искупавшись, она торопливо одевалась и снова повязывалась платком по глаза.

А Верочку из моря клещами не вытянешь. Давно уже пора домой, а она все бродит по мелкой теплой воде, волны гуляют туда-сюда, все это снует, торопится, блещет. Маленький краб резво и ловко боком-боком бежит по песку и прячется у подножия камня. Камень бросает глубокую тень, где сторожко отстаиваются почти невидимые, песчаного цвета бычки. Плывет голубая медуза; ее студенистое, зыбкое тело полупрозрачно, недолговечно, быстро сохнет на горячих камнях и становится белой пленкой.

— Верочка, домой! — кричит мать. А она как не слышит. — Кому говорю? Вылезай!

Она еще медлит. Сладко и опасно медлит.

— Ве-ра! — враспяжку, по слогам произносит мать. Ну, тут уже пахнет ремнем, ничего не поделаешь, надо идти.

Подъем крут, тяжел. Из-под ног сыплотся камни. Жидкие кустики маслины, цепляясь, тоже ползут по красноватому склону; их острые,

удлиненные листья на серой подкладке похожи на перочинные ножички; когда подует ветер, кусты подергиваются серебряной дымкой. Женя устает, начинает реветь, мать берет ее на руки и, согнувшись, несет в гору. У Верочки руки свободны, она цепляется за кустарник. Тонкие, узколистые прутья непрочно сидят в земле, легко вырываются с корнем; взмах в воздухе пыльного кома — и скольжение вниз на коленях, а то на зад. Мать бранится. Солнце палит. Когда после такого солнца войдешь в хату, перед глазами долго еще плавают радужные круги. Радостно хочется пить, звякает ковшик, и глоток холодной воды, чуть отдающей ржавчиной, наполняет живот и все тело немислимым счастьем.

4

Вообще Верочка жила животом. Именно там, в животе, был у нее источник непрерывного счастья, и там у нее екало, когда думала о приятном.

Много приятного на свете. Приятно есть. Приятно купаться. Приятно ходить в город с матерью на постирушки.

Мать наденет ей желтенькое, цыплячье платьице с оборками, берет за руку и ведет. Кончается знойная балка, и вот уже город.

Улицы широки, вымощены красноватым булыжником. По краям тротуаров каменные столбики, у которых собаки, весело вскинув ногу, справляют свои дела. Круглые тумбы пестрят